

ИРИНА ИВАСЬКОВА



КУРИНАЯ СЛЕПОТА

РАССКАЗ

1

Выезжали спозаранку. Новая хозяйка квартиры глядела с любопытством — и на аккуратные чемоданы, и на рюмочку с корвалолом, и на заплаканное материно лицо. Мать пустилась было в беседу — объясняла, что раковина на кухне иногда капризничает, а полпакета стирального порошка — хорошего, дорогого — остались в ванной, но под Катиным взглядом осеклась и умолкла. Жаркие солнечные квадраты, всплывающие в окна по утрам, отправились в свой ежедневный путь от подоконника до стены, отмеряя время от завтрака до полудня, чтобы исчезнуть в тихий обеденный час уже на чужих, равнодушных глазах. Хлопали двери на сквозняке, лился в комнаты привычный уличный шум, и таксист, вошедший без звонка и стука, подхватывал чемоданы с такой лёгкостью, словно были они совсем пустые.

Усевшись на детское одеяльце, зачем-то расстеленное водителем на заднем сиденье, мать закрыла глаза, чтобы не видеть, как движется рядом с автомобилем знакомый до кочки двор — с недоумением, прощаясь, прячась где-то за спиной, в полутёмном закоулке памяти, отведённом для ушедшего и потерянного. Потом стыдилась залитых слезами щёк, встряхивалась, шумно рылась в сумочке, доставала то расчёску, то зеркальце, то бутылочку с кипячёной водой. День выдался дивный — чистый, будничный, простой,

ИВАСЬКОВА Ирина родилась в 1981 году в Красноярске. Окончила Красноярский государственный университет по специальности «юриспруденция», работала юристом около десяти лет. Писать начала в 2007 году. В настоящее время занимается созданием статей для различных интернет-сайтов, а также кубанских газет и журналов. Публиковалась в журнале «Север», газете «Кубанский писатель». Живёт в Анапе.

такси летело легко, минуя светофоры без задержек, и быстро, очень быстро, вырос впереди острый, похожий на огромную зубочистку шпиль вокзала.

Двигаться на юг ранней весной хотелось немногим — и оттого ленивый, длинный поезд оказался полупустым и тихим. Ветер резво гонял сухую пыль от путепровода до перрона и казалось, что нет и не может быть никакой трагедии в отъезде, а только обыденность, только скука.

— Надо же, — сказала мать, войдя в купе, — не вернуться. Как же мы тут три дня?

Вагоны задрожали и дёрнулись, заплесало в окне узкое полотно занавески и заработало неведомое раньше ни Кате, ни матери железнодорожное волшебство: стенки купе будто раздвинулись, а потолок поднялся. Мать зашелестела, засуетилась, закрутив возле себя небольшой смерч из постельного белья, пакетов и пузырьков.

— Главное, добыть кипятку, — бормотала она, — и не пропадём. Веник бы... Хотя, погоди, я же щётку складывала. Ноги подними-ка.

Где-то гремели чем-то железным — будто миски падали в тазы, а за оконным стеклом мелькали неяркими пятнами невысокие зданьяца, построенные невесть для чего в каждой полосе отчуждения и всегда пустые.

— Ох, Хосподи... — сказала мать, завершив хозяйственную возню. — Едем, значит.

Хотела было всплакнуть, но, опередив её, в соседнем купе зарыдал ребёнок — отчаянно, во весь голос, и мать только вздохнула, мгновенно перейдя от жалости к себе к сочувствию неизвестному дитяте и его родителям. “Маленькому-то в такой тесноте...” — прошептала она и мысленно перебрала содержимое упрятанного под полку пакета с припасами.

— Ты, Катюш, прикорни тут. Не спала ночь, наверное. А я схожу, погляжу, не надо ли чего.

И ушла, прихватив шоколадку.

Прошедшей ночью Катя и вправду не спала — дремала, не погружаясь в сон, а словно спотыкаясь, падала в неглубокие сонные ямки и тут же просыпалась — в гулкой, лишённой мебели комнате, ворочалась, пытаясь угнестись, то мёрзла, то задыхалась от дурной, тревожной испарины. По-хорошему, при бессоннице положено было будить мать, и та, охая, прихрамывая, плелась на кухню, кипятила воду, кидала в чашку сухие щепотки — что там положено кидать, надо бы запомнить, наконец. Меленькие, колдовские движения, то ли шелест, то ли перезвон, шорохи и постукивания, а потом тишина и жёлтый, спокойный свет, падающий из кухни на тёмные дощечки паркета. В этом безмолвии распускалась в чашке сухая травка — вспомнила! чабрец! — и таяла, уходила от Кати злая, осой жужжащая тоска. Два глотка горечи — и сможешь спать.

Но прошедшей бессонной ночью — пустой, последней ночью на старом месте — будить мать Катя не стала: сражаться с бессонницей было бы нечем. Ситечко, серебряная солонка в виде уточки, чайники — большой, маленький и средний, кастрюли, ковшики и черпаки, переложённые газетными листами тарелки, чайные чашки, мраморная ступка, супница в золотых цветах, никогда не использующаяся для супа, но хранящая в своём фарфоровом нутре тоненькие книжицы с рецептами сладостей и солений, — все эти хрупкие обитатели кухонных шкафчиков уже позвякивали в темноте грузового вагона, пущенные в новую жизнь прежде своих владельцев.

Теперь и сама Катя неслась, покачиваясь, по рельсам, следом за домашними пожитками, вспоминая, какой обиженной, униженной и обнажённой выглядела вся эта комнатная утварь во время погрузки и упаковки. Глупые мысли, бессмысленная жалость — саму-то Катю некому жалеть. И разве уснёшь тут, пусть и утихомирилось ревушее за стенкой дитя...

Мать вернулась через полчаса, укоризненно покрутила головой и изрекла неожиданное.

— Везучие мы с тобой, Кать.

— С чего это?

— Да вон, ребята туда-сюда мотаются, да с дитём ещё. От войны бежали. С юга — на север, не прижились, теперь с севера — на юг. У нас

и паспорта, и полис — если что. А у них права птички — то ли беженцы, то ли непонятно кто. Я им про нас чуток рассказала, что сдали мы квартиру свою на годик и тоже вроде как бежим, но разве мы так бежим, Катя? Мы-то и квартиру снимем, и работать я буду. И ты учиться пойдёшь. А они-то как?

Слушать про беды незнакомцев Кате не хотелось, и она отвернулась, вслушиваясь в тяжёлый, с усилием, перестук, и улавливая лишь отрывки из материного бормотания: “Мальчику-то лет шесть, не больше... и ни дома, ничего не осталось... до сих пор стреляют... отец на руинах остался, в сарае живёт... в саду и яблони были, и вишня... сама-то опять беременная... и попивают, похоже... малыша жалко, не родился ещё, а уже несчастный...”. Собственная беда по сравнению с чужой казалась Кате и важнее, и горче — пусть и совестно было бы сказать об этом вслух, но себе самой-то можно и не врать. А мать — бесхитростно, просто — от страшной, но исключительно чужой безнадежности вдруг почувствовала себя счастливой, и стыдно ей от этого счастья не было, а только жаль, очень жаль, что так в жизни выходит. И она представляла себе, как могла бы бежать с Катей от стрельбы и взрывов — непременно ночью, ведь большая беда всегда приходит в темноте, и бежали бы непременно налегке, ничего бы взять не успели, а теперь бы ехали, пугаясь каждого стука и голоса, и каждый мог бы их обидеть и прогнать. “И ни помыться, ни поспать...” — думала мать, всё покачивала головой и бормотала: “Это ж надо же, как...”. И не отпускающее с самого утра отчаяние от разлуки с привычным и родным — немислимое, будто душу с корнями выворачивающее — немного утихало. “Ну, не навсегда же... Не навсегда... Поживём и вернёмся...” — в тысячный раз утешала себя мать, утирая слёзы.

Мать совсем не старая, но уже давно усвоила себе манеру старческую, пожилую — в беседе, в домашних хлопотах и в том, как осторожно, бережно носила своё тяжёлое тело. Так и проще, и хитрее; мать словно бы обманывала судьбу, жестокую к молодости и цветению, но равнодушно проходящую мимо отцветшего и поношенного — не закрашивала седину, говорила тихо, даже после недолгой прогулки спешила прилечь, платья выбирала широкие да потемнее, а на людях частенько прикладывала руку к груди и замирала, вслушиваясь и шевеля губами. В своей полноте мать чувствовала себя уютно, безопасно, будто тело окружало её — настоящую, невидную — надёжным, никому не интересным убежищем.

Ребёнок в соседнем купе опять заплакал, и завизжала следом за ним женщина. Упало на пол что-то тяжёлое, что-то завозилось и забило. Шаркнуло дверью, и визг стал невозможно высоким, прервался, и посыпались вместо него слова, но ничего понять в них было нельзя; они перемежались резкими, короткими ударами, словно колотил кто-то в стенку кулаком.

— Что ж это? — мать смотрела на Катю растерянно. — Поубивают сейчас друг друга. Малыша напугают. Может, полицию надо? Где проводники-то?

— Да сиди ты, не суйся! — раздражённо оборвала её Катя. — Тебе ещё достанется. Сами разберутся.

Разобрались и вправду быстро. Женщина умолкла, а ребёнок всё рыдал, и казалось, что плачет он не за стенкой, а совсем рядом. Мать осторожно отодвинула дверь и ойкнула — мальчик сидел на красном коврикe, подняв к ней мокрое лицо и растягивая губы скобкой — углами вниз.

— Ну-ка, давай-ка сюда, — скомандовала мать; он ловко, как змейка, скользнул мимо неё, и опрокинутая скобка тут же исчезла с его лица.

— Как тебя звать? Голодный? Ну, ничего, ничего, всякое бывает. И часто у вас так? Страшно тебе? — мать сыпала вопросами и суетилась — влажными салфетками вытерла мальчику лицо и руки, высыпала на столик кучу мелких свёртков — с бутербродами, печеньем, аккуратно нарезанными яблочными дольками, вафлями и конфетами.

Мальчик представился Петей и угощение принял охотно — держал всё предложенное двумя руками и грыз быстро, дёргая носом на величии манер. На остальные материнские вопросы отвечал неохотно, пожимал плечами и хмурился. Вытянула мать из него лишь возраст — оказалось, что ему не

шесть, а целых восемь лет, и очень хотел он, чтобы появился у него брат, а не сестра, потому что девчонка никак ему не подойдёт, а брата можно всему научить и будет куда веселей.

Поезд тем временем въехал в сумерки, заспешил в сторону ночи, и мать сдвинула оконные шторы, закрыв тревожный профиль горизонта, выведенный на бесцветном небе чёрной тушью.

— Ложись, малыш, ложись. А вот я тебе простынку домашнюю постелю, нечего на этих казённых тряпках спать, — и мать взмахнула перед Петей ситцевой, в цветочек, тканью.

Катя, недовольная неуместной материной добротой, забралась на верхнюю полку и глядела оттуда укоризненно и сурово, но потом уснула — на удивление быстро и легко.

— И ты спи, — мать робко дотронулась до лохматой Петюниной макушки — погладить не решилась, — завтра пораньше разбуду тебя, твои небось уже утомонятся, да и пойдёшь к ним.

Соседнее купе молчало — словно и не было там никого. Поезд замедлил ход, а после остановился. Мать слушала, как хрустят под чьими-то шагами камешки, как переговаривается с кем-то кто-то неведомый — негромко и печально, и сама опечалилась оттого, как равнодушно лётея в окно яркий огонь фонарей. Но прошло лишь несколько минут, и снова дёрнулись вагоны, уплыл в темноту фонарный свет, а поезд разогнался, качая лежащую мать из стороны в сторону. “Как младенца качает, — улыбалась она про себя, хотела вспомнить, как укачивала маленькую Катю, но вместо этого подумала о Пете — надо ему с собой ещё шоколадок, да конфеты ещё где-то были...”

Проснулась она от тихого движения, несоразмерного ни вагонной качке, ни сну — где-то под ней, по самому полу, двигалось что-то маленькое, тёмное, и мягко ехала из-под её головы подушка — туда, под голову, мать уложила сумочку с документами и кошельком.

Скосив глаза в сторону, мать увидела пустую, устеленную ситцевыми цветами полку, и заговорила туда, вниз, к полу, внятно и неспешно:

— Петюнь, да там рублей пятьсот, не больше. Я забоялась деньги брать в поезд, ехать-то всего три дня, чего покупать-то? Лучше еды побольше взять, правда?

Маленькое и тёмное замерло, потом шмыгнуло носом и спросило:

— И карточки, что ли, нет?

— Нет, что ты, не люблю я их. Только сберкнижка, но по ней без меня никак не получишь. Ты с пола-то встань, простудишься. Может, поспишь ещё? Или конфет хочешь?

Темнота молчала, и мать сжалась, ощутив вдруг остро и болезненно собственную крупную тяжесть и подумав, что сейчас её надёжное телесное убежище защитить свою владелицу никак не сможет, ведь грозит ей не взгляд и не слово. “А если нож у него? Кричать? Катя испугается...”

— Я пойду, — сказала темнота, — а ты за мной закрой на замок. И не пускай больше никого, дура. — Ругательство вышло беззлобным и даже ласковым.

Дверь скользнула в сторону почти бесшумно — открылась и закрылась; мать, унимая дрожь, щёлкнула замком, улеглась, укуталась было одеялом, но тут же села и направила ногами тапки. Поезд снова умерял ход, серый утренний свет забрезжил меж занавесками, задвигались, а после остановились за окном острые, длинные тени. Мать встала, глянула на крепко спящую Катю, достала из-под подушки не добытую Петюней сумочку, накинула куртку и вышла в ледяные, весело пляшущие сквозняки коридора.

Соседнее купе оказалось открыто, сердитый проводник сдирал с полок бельё и одеяла.

— Где ж соседи-то наши? — спросила мать. — Погулять, что ли, собрались? А мы долго стоять будем?

— Техстоянка один час. А эти ночью ещё вышли, — ответил он и отвернулся.

— А мальчик как же? Они ж беженцы, куда ж они? — переполошилась мать.

— Да какие беженцы, врут для жалости, а вы слушаете. А пацан только что смылся, ещё и чай весь спёр, засранец.

— А если потеряется он? Может, в полицию?

— Женщина, знаете, что... — начал было проводник, но умолк, махнул рукой, и по лицу его читалось, как ненавидит он и это раннее утро, и мятые простыни, и мальчиков, и пожилых надоедливых толстух...

Выйти из вагона мать не решилась. Она стояла, крепко держась за поручень, и глядела на усыпанную светлым гравием дорогу и небольшой пруд, окружённый сухими, изломанными стрелами камышей. Зябли в воде деревянные мостки, где-то далеко лаяли собаки, а колкий утренний холод марта даже не обещал весну.

Мать подумала, что пруд и тёмные дачные домики, и прошлогодняя трава — всё это скучное, простое — она не увидит больше никогда; что через пару месяцев здесь будет зелено и шумно, а она никогда больше этого не увидит. И ей вдруг захотелось зашагать прямо в тапочках по дороге, чтобы камешки скользили под ногами, пройти по дощечкам мостка и опустить в холодную воду кончики пальцев, обернуться, посмотреть на медленно трогающийся, набирающий скорость поезд, а потом остаться совсем одной.

2

“Колдуй, баба, колдуй, дед, колдуй, серенький медведь...” — напевала мать, глядя в сердитое личико дочери; ишь, головёнка с кулачок, а такая серьёзная.

Страшно матери не было. Смутить её, помешать ей никто не мог: Катюшин отец, допущенный в дом даже не по слабости женской, а случайно, никогда больше материных порогов не переступал; а родни никакой в живых у неё уже не осталось. Некрепкий был её род, непрочный — всё болели, пропадали где-то, выбирая дороги самые неудачные, и, что хуже всего — переносили выпадающие на долю несчастья смиренно, без борьбы. Одна мать вышла покрепче, и даже грузностью своей отличалась от остальных — тонкокостных и сухоньких. И теперь нахмуренный младенческий лобик радовал её до слёз — сердится, значит, жить будет хорошо, прочно. “Колдуй, баба, колдуй, дед... — пела мать, пряча в шкаф тёплые от уюта бельевые стопки, — колдуй, серенький медведь...” — шептала, оглядывая перед сном свой беличий, припасливый мирок. И, хоть ведуний или, упаси бог, знахарок среди покорных судьбе материных родичей не водилось, своим шёпотом и мелкой ежедневной суетой сплела она чудную, никому не видимую сеть — колдовскую, не иначе.

Сначала, конечно, было неловко — дочь выплыла в жизнь совсем невесомой человеческой пылинкой; мать часами сидела рядом со спящим ребёнком и думала, что даже хрупкое имечко Катюша кажется грубым и очень уж большим для этих пальчиков и ушек. Приходилось придумывать крохотные словечки — нетяжёлые, летучие; стеречься сквозняков — чтоб не унесли; опасаться даже лунного света — не по себе становилось матери, когда искривленное неведомой бедой лунное лицо рассматривало детскую кроватку сквозь оконное стекло.

Но мать колдовала и за бабу, и за деда, и даже за серого медведя — пальчики вырастали в пальцы, ушки становились ушами; кипело молоко, лилась вода, и колдовская сеть, бывшая поначалу не крепче марли, держала всё плотней. Продольные нити обычных дней переплетались с поперечными нитками выходных; вкруговую же мать укладывала свои, секретные, почти паутинные волокна: щепотку сухой ромашки в чай, букву К, вышитую на изнанке платья, кубик сахара под подушку — для сладкого, сверкающего чистотой сна.

Укрепляло колдовскую сеть и материно пристрастие к шторкам, полкам, шкафам и скатертям — да потемнее, потяжелее, — превратившим две комнаты, кухню и кладовку в мудрёный лабиринт с тайниками и убежищами. Доросшая наконец до своего имени Катюша укладывала в картонные коробочки мелкие монеты, бусинки, цветные стекляшки из калейдоскопа;

оборачивала сухо пахнущей шоколадом фольгой бруски пластилина — получались слитки золота и серебра; а потом рассовывала свои сокровища по углам. Чтоб не забыть, где упрятан клад, Катя рисовала карты — сначала простые схемы с пунктирами указателей и жирным косым крестом посерединке, а после, наловчившись, — сложные, собранные из нескольких листов, расчерченные хитро, кропотливо, с нарушением всех мыслимых законов пространства размещающие на сорока пяти квадратных метрах цепочки голубых озёр, горы в острых колпаках ледников, погибший тысячу лет назад сизый лес, шумные, опасные разбойничьи города.

И пока где-то взлетали самолёты, разбегались поезда, тысячи, миллионы людей, навьючив на себя рюкзаки, стремились в неведомое, мать с Катей укоренились в своём доме и друг в друге бессловесной, слепой, нутряной любовью, врастающей в душу, тело и жилую площадь нервными окончаниями и кровеносными сосудами. Плакали вместе над утренней овсянкой и вместе же её съедали, щедро сдобрив вареньем; выбегали в стылую предрассветную темноту, терпели ежедневное наказание раздукой и отовсюду скорее-скорее бежали друг к другу, потому что мир на своём месте, только если все свои дома, и время тогда лётся так гладко, что незаметно ни старости, ни взросления...

Как же нравилось матери всё, что цело и пылю рядом! Даже мимо галдящих на скамейках подростков мать всегда проходила с улыбкой: веселели и рваные брюки, и разноцветные рожицы на футболках, и трогательные лодыжки, голые до самых холодов. Не смущал её неумелый, нарочитый матерок, а на выкрашенных девчачьих волосах она с удовольствием узнавала знакомую цветовую основу — ну, вот этот нежно-русалочий — это ж разбавленная зелёнка! — а розовый — ведь точь-в-точь слабый раствор марганцовки. Пёстрые стайки, взрывающиеся хохотом или сосредоточенно утыкающиеся в телефонные экраны, бьющие светом и прыгучей, лёгонькой музыкой; одиночки, укрывающие лица глубокими капюшонами толстовок; пухленькие изгои с газировкой и булочкой в обнимку; плохо одетые бедняжки; пышные, созревшие уже красотки и меленькие, не подошедшие ещё к цветению полудети; не справляющиеся с собственными руками и ногами мальчишки, похожие на невесть кем управляемые ниточные куклы — все они казались матери одинаковыми — милыми и чужими.

“Пусть, — говорила она, — пусть резвятся, пока молоденькие...” — и от собственной снисходительности чувствовала себя очень доброй, ни на секунду, правда, не допуская мысли, что зеленоволосой или голоногой может стать её Катюша.

Конечно, мать знала, что есть где-то несчастные, злые дети, живущие в нелюбви и оттого творящие страшное, но их беды казались ей чем-то вроде дурного фильма — не хочешь, так не смотри, а если кто-то включил такое кино рядом с тобой, прищурь глаза, прикрой уши и гляди только на хорошее. И сама бы себе мать никогда не призналась, что её улыбка и доброта к чужим людям были равнодушием, счастливым и намеренным неведением человека, живущего на вечно-солнечной стороне улицы.

* * *

Ранней осенью, когда город оправлялся после оглушительно жаркого лета — не было такого почти полвека — Кате исполнилось четырнадцать. Хороший возраст, пушистый — так думала мать, подбирая рецепты для праздника: что там, изобретать ничего особенного не будем, курочка, пара салатиков, колбаска-сыр.

К шести пришли подружки — Катюша сошлась с ними давненько, в раннем детстве, и держались они в доме запросто. Светка — в очках и тонковатых косах — мать помнила, как малышкой она всё просила водички и могла выдуть два стакана зараз; и Викуся — бедняжечка, очень уж прикус неправильный и оттого совсем мышинное личико.

Подперев щёку кулаком, мать глядела на сидящих за столом девчонок и радовалась — вот хорошо как, Господи, хорошо-то как, мирно.

— Кушайте, кушайте, мои хорошие, потом и тортик будет. Ну вот, Катюш, — сказала она дочери, привычно порадовавшись её ладному личику, — какая ты взрослая стала.

Вспомнив собственные четырнадцать, мать взгрустнула.

— Мы совсем не так жили, совсем не так. А вам всё открыто — хочешь туда, хочешь сюда! Вот ты, Света, — с жалостью спросила она, — кем хочешь стать?

Света пожала плечами, а Викуся захихикала — ходила меж подружками злая шутка, что тяжело, со страшным напряжением всех сил учившаяся Светка плюнет и станет, в конце концов, парикмахером.

— Вот и Катюша ещё не решила, — посетовала мать, — а ведь ей куда угодно можно! Вот я иногда сижу и думаю, пройдет лет десять, и останусь я совсем одна. Катюша в институт поступит, потом работать пойдёт, да глядишь, ещё и в столицы унесёт её. А что, девочка умная, с руками-ногами оторвут, а она ведь ещё и сама так ничего. — Мать покосилась на тонкие Светкины косы и вздохнула. — А там и замуж... А вдруг муж иностранец попадётся? И уплывёт моя Катюша за моря-океаны, там, говорят, добра побольше водится... А я тут буду... Я уж своё отплавала.

На самом деле мать даже представить себе не могла, что Катя может уехать учиться или выйти замуж — всё это далеко и невозможно. В материнских мыслях путались и никак не складывались две картинки: в одной — Катя, взрослая и решительная, покоряла мир, а в другой — никогда от мамы далеко не уходила. Ну, возможно, будет какая-то там работа, детки, чтобы рядышком все были, а лучше — в одной квартире... О внуках мать думала с охотой, но мужчина, который заберёт Катю, начнёт с Катей жить и даже спать, казался невысказанным и ненужным. Однако разговоры о непрременной разлуке и Катином будущем где-то вдали от себя мать с некоторыми пор считала обязательными и заводила частенько — так нужно было, по её представлению, воспитывать, и, к тому же, нравилось ей сладкое и тоскливое чувство, возникающее в груди при мысли о том, что нынешнее счастье когда-нибудь кончится, но ведь не скоро, не сейчас!

Девочки молчали и переглядывались. “Мешаю... — догадалась мать и встала. — Поболтать хотят. Может, Господи, прости, уже и мальчиков обсуждают...”

— Пойду я к себе, а вы тут уж празднуйте. Гулять-то потом пойдёте? Катюш, начнет темнеть — сразу домой...

Ночью шёл дождь, и оттого утро выдалось совсем прохладным. Нужно было доставать плащи и туфли — это простое дело всегда заставляло мать врасплох, и она сокрушалась, что никак не может угадать погоду хотя бы за несколько дней, чтоб всё сделать по уму: проветрить, погладить, встряхнуть. За суетой она не сразу сообразила, что Катя сегодня скучна и неразговорчива; обязательную овсянку одолела, но вот любимое печенье оставила на блюде.

— Ты как себя чувствуешь? — мать приложила ладонь к дочкиному лбу, — горячевата что-то... Ну-ка, горло покажи. Не видать ничего... Это Викуся твоя заразу притащила, я вчера так и подумала, она носом шмыгала тайком. Дома оставайся. Я тебе попить сделаю морса. Температуру измерь и мне позвони потом. Контрольных нет нынче?

Катя помотала головой и улеглась на диван, поджав ноги. Мать накрыла её пледом и быстро перебрала в памяти содержимое своего внушительного аптечного шкафчика: календула-ромашка есть, аспирин, витаминки, леденцы от горла, а вот брызгалку в нос надо купить. Ну, и отпроситься с работы после обеда, нырнуть в овощной, в аптеку — и домой. Катини болячки мать всегда бодрили — врачаю дочку, она чувствовала себя нужной, ловкой и немножко всесильной.

Спустившись по лестнице, открыв подъездную дверь и, как обычно, на секунду зажмурившись от утреннего солнца (она болезненно переносила резкие переходы от темноты к свету), мать продолжала соображать, как бы побыстрее справиться с недугом: компот сварить из вишни, если горло совсем разболится, то сухой горчицы в носки, а потом ещё можно мёду...

Катино лицо — чёткое, чёрно-белое и оттого словно бы постаревшее, хлестнуло мать по ещё слезящимся от солнечного света глазам так неожиданно, что она снова зажмурилась и остановилась. “Показалось-показалось-показалось...” — выколачивало сердце, и мать открыла глаза осторожно и медленно. Но сомнений не было — на белом бумажном листке, наклеенном прямо на морщинистый ствол тополя, чернели толстые буквы “ТЕБЕ КОНЕЦ”, а под ними, перечёркнутая двумя диагоналями липкой ленты, была дочка — её густая чёлка и тёмные, широкие, как мягкой кистью нарисованные брови. Эту фотографию они сделали всего неделю назад, а потом мать собственноручно, хоть и неуверенно ткнула на маленькое сердечко на Катиной интернет-страничке, отчего сердечко из бесцветного стало ярко-красным. Мать оглянулась — ещё один белый листок с Катюшиным лицом трепетал уголками на невысокой доске объявлений; дочкины глаза глядели с фонарного столба и спинки пустых скамеек — ТЕБЕ КОНЕЦ, ТЕБЕ КОНЕЦ, ТЕБЕ КОНЕЦ... Матери захотелось позвать на помощь, и она даже зашевелила губами, пытаясь кричать, но голова кружилась, и асфальт под ногами стал мягким, как песок. Двор был пуст, и только слышалось, как на дороге за домом разгоняются и тормозят злые, невыспавшиеся автомобили. И тогда мать кинулась к тополи, сгребла листок всей пятернёй, охнув от крошащейся и вонзившейся под ногти коры, метнулась к фонарю и скамейкам, не замечая ни грязи, налипшей на туфли, ни зябкой дождевой пыли, посыпавшейся с неба быстро и легко. Сняв листы в один комок, мать швырнула их в мусорную урну, но потом вдруг передумала и вынула обратно. Сунула потемневшую от дождя бумагу в сумку и, чуть пошатываясь, пошла на остановку.

3

“Ни минуты не посидит спокойно, вот ведь белка какая... — мать разглядывала школьную директрису с неодобрением. — Начепурилась вся, гляди-ка, нарядная, как в ресторан собралась...”

Директриса прыгала от беспрестанно звонящего телефона до набитого картонными папками шкафчика, и видно было, что этим утром не радуют её ни отлично покрашенные волосы, ни собственная должность, ни хорошее шёлковое платье, ни уж тем более ранний визит очередной, наверняка полусумасшедшей родительницы.

— Прокуратура звонила, прокуратура, я тебе говорю, просят штатное расписание им отправить, ищи, у тебя где-то было! — кричала она в телефонную трубку, а потом кидалась в полутёмный коридорчик у кабинета — там, в окружении сломанных стульев, хмурился суровый сейф.

“И не устаёт ведь на таких каблуках. Красиво, конечно, но как уж хлопотно...” — матери было чуть неловко от своей грузности и тяжёлых сапог, и очень хотелось пойти домой, а ещё лучше — вернуться на две недели назад, чтоб не знать ничего и не помнить, как ругалась на неё в полиции инспекторша, не пожелавшая даже в руки взять злосчастные листки с Катюшиной фотографией. “У меня тут два пацана на вокзале под поездом, один мёртвый, другой без ноги, а ещё изъятие сегодня у наркоманки — голодом младенца держит, а вы тут ходите! — От этих слов мать перестала плакать и понялась к двери. — Балуется кто-то, может, подружка ревнует! На улицу не пускайте вечером, про контрацепцию и ЗППП расскажите! — Тут уж мать замахала руками и убежала, слыша вслед: — После школы нюхайте, нет ли перегара, зрочки наблюдайте и зайдите, если что, через месяц!”

Не хотелось матери помнить и другое — как в отчаянии набрала она домашний номер Катиного отца, четырнадцать лет хранившийся в записной книжке, и, сгорая от стыда — чисто кипятка глотнула, ей-богу! — пыталась напомнить чужому голосу о давнем знакомстве. И он вспомнил, хмыкнул презрительно, а после велел не звонить и ни на что не рассчитывать.

Но хуже всего было другое: неведомое матери ощущение предательства и несправедливости — от целого мира, бывшего ещё недавно приветливым

и светлым. “Почему мы? Отчего?” — гадала мать и всё пыталась понять, кому так сильно могла не понравиться Катюша — это же уму непостижимо, надо ведь распечатать, да ещё и расклеить, не побояться. Матери настолько не верилось в происходящее, что, случись оно с кем-то другим, а не с ней, посоветовала бы скорее сходить к врачу и проверить зрение — вдруг померещилось? Никак не получалось у неё даже представить себе внешность злодея (или злодеев?) — не было в голове мало-мальски подходящего образа, и оттого всё рисовались ей какие-то киношные преступники в окладистых бородах, чёрных очках и перчатках...

Хлопотунья-директриса наконец утомилась, плюхнулась в скрипнувшее кожей кресло и, с подозрением поглядывая на умолкнувший телефон, спросила:

— Ну, что там у вас? Восьмой “Б”? Печёнкина?

Мать, всегда любившая забавное звучание своей фамилии, устыдилась и её. “Что ж это со мной, сама себе как не родная...” — мельком подумала она, вытащила из сумки потрёпанный на сгибе листок и развернула его перед директрисой.

— Вот что. Уже третий раз собираю. Первый раз во дворе расклеили, я чуть с инфарктом не свалилась, пока с дерева соскребала и с лавок. Потом прямо под дверью квартиры разбросали, а потом просто подъездом по газону, мне даже дворничиха наша приносила и любопытничала, что это такое творится и почему мы мусорим. А это ж разве мы? Как бы я мусорила собственной дочкой, а? Я вас спрашиваю! — Возмущённая дворницкими нападками мать задрожала голосом и щеками. — Не реви уже, не реви, Господи, как вынести это всё, — бормотала она сама себе, не замечая, что говорит вслух.

Директриса отвела от матери глаза и вздохнула, уже сожалея, что никто не звонит.

— Катерина — девочка хорошая, учится ровно. Ни с кем не ссорится. Учителя её любят. В классе, насколько мне известно, у неё проблем нет. Я, честно говоря, не знаю, чем вам тут поможет школа. Если только полиция...

— Да была я, была! — зарыдала мать. — Эта... инспекторша... сидит... младенцы там у неё с голоду умирают! А нам-то что теперь, терпеть это всё? — Мать голосила, уже не сдерживаясь. — Перегар, говорит, понюхайте, зрочки ещё приплела! Да Катя даже шампанского не пробовала, а она про эту, прости господи, контрацепцию мне кричала да на весь коридор, позор какой!

Директриса хмыкнула, но промолчала.

— Я ведь не знаю, куда мне побежать! — Мать вытерла глаза и шлёпнула листком по директрисину столу. — Вы мне скажите, вы же здесь главная по детям, что мне делать? Пока я даже в школу отпустить её не могу, а ведь экзамены на носу!

— Хорошо, хорошо, вы только успокойтесь, не стоит нервничать. Давайте сделаем так. Я сама позвоню в полицию от имени школы и спрошу, что можно сделать. И вам потом перезвоню, договорились?

Телефон ожил, и обрадованная его воскрешением директриса состроила извиняющееся лицо, мол, сами видите, ни секунды покоя. — Я перезвоню, — прошептала она матери, схватив трубку и прикрыв ладонью нижний её раструб. — Прокуратура? Да, слушаю вас, слушаю!

Мать поднялась со стула тяжело и неохотно — в тёплом кабинете она пригрелась и размякла. Нужно было идти дальше, идти непонятно куда и что-то решать — ясно было, что эта тонконогая вертушка ничем помочь Катюше не сможет.

Директриса дождалась, когда за неприятной гостьей закроется дверь и скомкала бумажную Печёнкину в плотный шарик. Хорошая девочка, с экзаменами надо будет помочь. А бумажками, наверняка, мальчишка влюбился и балуется. Не надо никуда звонить, замучают потом проверками. А если вдруг спросят, почему не звонила, то можно сказать, что не дозвонилась — этому всегда верят, потому что дозвониться и вправду никак нельзя.

Солнечная сторона улицы обернулась тенью — не осталось сил ни на добродушие, ни на снисходительность. Мать стала раздражительной и пугливой. Дома, конечно, держалась — бодрилась и хорохорилась, но, выходя за порог, чувствовала себя шпионом в чужом мире. Ни обычаев, ни языка этого мира мать не знала, и трудно ей было справляться с обыденностью в такой тёмной, незнакомой оправе. Самое простое, доставлявшее раньше такую радость, вроде прогулок по шумному утреннему рынку, теперь казалось пыткой.

Раньше мать павою плыла меж разноцветных прилавков: тут — помидорные мячики, здесь — влажная зелень, а там, гляди-ка, — серебрятся тугие рыбы тельца, и кивает знакомый продавец — иди сюда, припас тебе лучшие на этой земле сёмгины головы. Теперь же лимонные солнца потускнели, картошка шла сплошь гнильё, а рыночные тётки огрызались, так и норовя обвесить. Мать толкали в очередях, хлопали перед её носом дверями, отдавливали в автобусах ноги, и жить ей стало словно бы тесно. Она и сама чувствовала, что даже глядит по-другому — виновато, с готовностью к обиде, со страхом, — а такого чужой мир, видимо, простить никак не мог.

Сменила тональность и музыка подростковых стаяк. Не слышалось в ней ни весёлого щебета, ни лёгкости — сыпалось из детских телефонов что-то тяжко-ритмичное, то басовитое, то визгливое; идущие навстречу одиночки смотрели с вызовом; парочки не уступали узкой дорожки, и мать, ступив одной ногой на газон, и поставив на другую тяжёлый пакет с яблоками, терпеливо ждала, покуда минуют её — неторопливо, вразвалочку. А как-то вечером совсем юная девчушка со злым лицом и словно бы замороженными, выкрашенными алым губами прошла мимо, вдруг выругалась и швырнула матери в лицо что-то лёгкое, холодно-влажное, вроде мокрой салфетки. Мать от испуга и омерзения сделала вид, что ничего не произошло, и даже не оглянулась, шла, как идётся, неспешно и вроде как непринуждённо, а дома тёрла лоб и щёки с мылом до скрипа и красноты.

Дома было легче. Запрёшь двери, вытрешь пыльную обувь, сдвинешь плотнее шторы и можно жить. Дома можно попытаться собрать потерявшие натяжение нити колдовской сети, увязать их в прочное полотно — привычными делами и заботами, бульканьем кипятка, шкворчанием масла и особенной вечерней тишиной, наступающей после того, как выключены кухонная плита и телевизор. И если бы знать, что утро не наступит, а вот так и будет всегда — сумеречно, тепло, сытно, — если бы можно было остаться здесь не ведающим бед жуком в прочном янтаре...

Чуть проще было и оттого, что Катя всё знала: листки у квартирной двери она нашла сама, и после этого мать с облегчением запретила дочери выходить из дому, не признаваясь себе, что разделённая ноша её страха немного потеряла тяжесть. Катя, как ни странно, совсем не испугалась, а в ответ на материны вопросы только пожимала плечами — ни с кем ни ссорилась, никого не обижала, и что ты, мам, какие мальчики! Листала учебники, уютно шебуршала плотно исписанными тетрадками, почти не включала компьютер и охотно хлопотала по дому, пока мать была на работе. И только после дворничихиных криков и слышанного всем подъездом безобразного скандала пришла ночью к матери и спросила, можно ли ей немножечко полежать рядом? Мать разрешила, и с тех пор Катя больше у себя не спала, и посапывала по ночам у матери под боком совершенно так же, как четырнадцать лет назад.

Приходили в гости Викуся со Светкой, глядевшие на Катю с восхищением — надо же, как в страшном кино снимается, и не боится совсем! Но потом Викуся разболтала про листки своей маме, и девочкам навещать подружку запретили — вроде и глупости творятся, но держаться лучше подальше, пусть пока там сами разберутся, что к чему.

О том, что может случиться дальше и что нужно сделать, чтобы всё это закончилось, мать с Катей не разговаривали. Меж ними вообще не было обычая жаловаться друг другу или просить поддержки; отчего-то любые серьёзные чувства — чужие или свои — вызывали у них неловкость, и обсуждали они только самое простое, вроде погоды, одежды или начинки для пирога.

И теперь Катя ничего не спрашивала у матери, частенько приходившей домой с заплаканными глазами, и мать Кате ничего не говорила, когда увидела, что детские её карты сокровищ сняты с антресольных высот и обрастают новыми морями и странами. Пусть отвлечётся ребёнок, что тут такого.

Но остаться запёртыми насовсем никак не получалось. Назойливый и такой недобрый теперь мир сочился сквозь закрытые двери и окна: новостями, случайно услышанными соседскими пересудами, счетами за квартиру, снегом, сменившим дожди, звонками из школы и вежливым недоумением чужих — ну, сейчас-то, мол, всё тихо, никто больше ничего не подкидывает? Чего ж взаперти-то сидеть второй месяц? Эх, думала мать, поглядела бы я на вас, что бы вы на моём месте запели, как бы заплясали и куда бы побежали...

4

Две стены маминой спальни выходят на улицу, осенью и зимой в ней всегда прохладней, чем в других комнатах, и, если надеть тёплые носки, можно играть в Арктику. Мамина кровать застелена белым лохматым покрывалом, и маленькая Катя укладывала под него подушки так, чтобы получилась снежные холмы. Синий платок становился ледяным озером без рыб и водорослей — только айсберги, только густеющая на морозе вода. Между холмами прятались медведи и арктические лисы, фонарный свет за окном переливался северным сиянием, и хозяйничала в Арктике бесконечная, тихая полярная ночь.

В школе Катя часто думает про мамину комнату, и если становится невмоготу, то представляет себе, что она снова маленькая, лежит в Арктике на снегу и рисует карты полярных земель. На них звери, ледяные пещеры и горы, и нет ни одного человека, потому что обычный человек жить там не сможет. Маленькая Катя считала, что Арктика населена снеговиками, отправляющимися за Полярный круг после таяния-смерти, а теперь она точно знает, что нет там ничего необычного, а только пустыня изо льда и снега. Но вспоминать про полярное королевство Кате всё равно приятно, прохладно и отвлекательно, потому что глядеть на всех, кто суетится рядом, ей совсем не хочется.

Правда, жить с закрытыми глазами никак нельзя, а людей рядом с каждым годом становится всё больше и больше, они подходят всё ближе и сжимают Катю в кольцо неперемennого будущего. И почему-то выходит, что жить прямо сейчас никак нельзя, потому что всё время нужно делать что-то для следующего дня, недели, месяца, года. “Вы должны стать настоящими, успешными людьми! Я желаю вам счастья и только пятёрки!” — кричит на первосентябрьской линейке школьная директриса, а потом отходит в сторонку и нервно постукивает острым каблуком по полу. Все в школе знают, что у неё муж и любовник и что каждое лето она уезжает с любовником в Испанию, а муж остаётся дома с двумя детьми, пятилетними близнецами — тоненькими, светловолосыми, похожими на мать. Это и есть настоящее, успешное — на пятёрку? Или вот биологичка — замурзанная, пухленькая, терпеливая, в несменяемой водолазке цвета свёклы и тугих брючках. Водолазка обтягивает её спину и живот, а лифчик она носит слишком тесный и оттого становится похожа на гусеницу в ровных, странно симметричных складках. Ещё есть историк, единственный в школе учитель-мужчина — страшно высокий и худощавый. Как, должно быть, ему неловко в учительской, где одни женщины и всегда пахнет парикмахерской, потому что и кривоногая химичка, и старенькая русичка с просвечивающей сквозь кудряшки лысинкой, и грубая, крикливая англичанка на каждой перемене толкуются у зеркала и брызжут на себя лаком для волос.

Ладно, учитель — он вроде и не совсем человек, а что-то вроде напичканной цифрами и буквами машины. А остальные взрослые — соседи, прохожие — бегущие навстречу или прочь с таким странным выражением, будто лицо у них сводит к носу? Сами торопятся и всех кругом торопят, подгоняют, только и слышно: “Не толпитесь! Проходите поскорей! Нет времени!

Женщина, вы всех задерживаете!” Все они безнадежны и совсем дураки, потому что торопятся они к собственному концу — ну, а куда ж ещё?

Кате повезло. В школе она ни среди последних, ни среди первых, а где-то так, посерединке. Ноги ровные, волосы хорошие, прыщами не обсыпает, не толстеет. Одевалась бы чуть получше и была бы повеселей, приняли бы в красавицы. Но Катя в красавицы не шла, очень уж надо стараться, чтобы из них потом не выпасть, каждый день выдумывать, что надеть, как накрасить глаза, как причесаться. Вообще девчонкам очень страшно быть толстыми — не пожалеют. Или если очень некрасивой, или странной, или — это больше для мальчишек — маленького роста — всё, не выберешься, считай, на всю жизнь пропал. С отверженными даже общаться нельзя, всем известно, что это заразно: ты только посидишь с ними рядом, и сам сразу испортишься.

Кате не очень хочется играть в эти игры, но ей даже невозможно представить себя на месте школьных толстух или всеми презираемого мальчишка-альбиноса, или той девочки из параллельного, с крохотными глазками и совсем без ресниц — ужас!

Катя знает, что её ровесники обычных, копошащихся рядом взрослых за настоящих людей не считают, а просто ждут — совсем немного времени пройдёт, можно будет выйти из-под унижительной власти и жить уже нормально. Правда, никто не представляет, что такое — нормально, но уж точно не так, как здесь, не так, как сейчас, не так, как все. Дайте только вырасти, вырваться, и уж мы-то никогда не будем — как вы, мы-то покажем, как надо, а вы ничего, совершенно ничего не понимаете и только всё портите!

Но никто, никто из глупых Катиных одноклассников и не догадывается, что все дети, от зарёванных первоклашек до развязных выпускников, с самого рождения хранятся в документах — в школе, поликлинике, паспортном столе. Наверняка, если хорошенько порыться, то можно найти записанным не только детское прошлое — кори, ветрянки, оценки, — но и будущее, и уж точно нет в нём никакого избавления от нынешнего унижения и чужих правил. Где-то в этих бумажках есть Катя — и никак не изменить то, что для неё уже напридумывали. А ведь ей-то ничего этого не хочется. Ни любовников, ни мужей, ни детей, ни скучной, бессмысленной учёбы, ни складок на животе, ни ежедневного галопя по городским улицам, автобусам и магазинам. А хочется только лежать на лохматом покрывале и вести по бумаге тонкий пунктир от чистого ледяного озера до крутого снежного склона: под ним, в тайной пещере спрятан клад, собранный не людьми, а мёртвыми снеговиками.

* * *

Это, конечно, удивляет, но в гонке безнадежных взрослых не участвует только Катина мама. Раздражает в ней много чего: глупо сидящие мешковатые платья, какие-то дремучие рецепты лечения простуд (чего только стоит кипящий картофель, помогающий, видите ли, своим паром от насморка), медлительность, привычка болтать с каждым продавцом и печь блины на ночь глядя, а ещё эта манера выйти из подъезда, посмотреть на солнце и зажмуриться. Стоит, слёзы из глаз бегут, а она улыбается и объясняет: “Сейчас пройдёт. Это, доченька, куриная слепота. У бабушки твоей такая же была...”

Но вот странное дело — мир вокруг мамы успокаивается и замедляется. Она будто ловит его в свои сети, приручает, умиряет, отводит куда-то в сторону, подальше от Кати... Какое такое непременно будущее, если мы ещё чаю не пили? Пусть подождёт. А мы пока неспешно пройдём от тёплой постели до кухонного окна, на секунду впустим в дом свежий утренний ветер, радостно продрогнем, захлопнем окно и халат запахнём поплотнее. Некуда, незачем, не к кому нам торопиться, и нет ничего интереснее нас самих, нас — здесь и сейчас.

И оттого мамино предательство стало для Кати полной неожиданностью — неужели это она, мама, хлопчущая над каждой Катинной вещичкой,

путающаяся каждого её насморка, готова поступить со своей дочерью так жестоко?

Катя даже день запомнила: случилось это в прошлом году, третьего октября. Мама тогда явилась с родительского собрания, выбралась из тесноватого, на выход, плаща и со слегка растерянной улыбкой сказала Кате, что, мол, вот, доченька, мне сегодня объяснили на собрании, что время пришло. Катя удивилась — что такое, для чего время-то? А мама ей — р-раз! — и выдала, что взрослеть пора, велели всем ученикам со своим будущим определяться. Ты, говорит, доченька, уже определилась? И потом заохала что-то совсем несуразное: вылетишь ты скоро, девочка моя, из мамино гнезда, полетишь учиться, работать начнёшь, а потом и замуж выйдешь, детки у тебя свои появятся, будешь их любить, а мамочку уж побоку... Мамочка уже и не нужна будет... Ну, а как ты хотела? Никто ещё под маминым крылом на всю жизнь не оставался, а уж ты тем более не удержишься, такая ты уж у меня умница, такая красавица... Захочешь, так хоть юристом станешь, хоть ювелиром. Или бухгалтер — вот до чего полезная профессия, твоя Викуся локти потом кусать будет, а ты всегда будешь при деле и при рубле! А захочешь, так и на иностранные языки можно пойти, вон, французский до чего ж красивый язык, а ты маленькая была, как раз картавила.

Кудахтала и улыбалась так, словно со слабоумной разговаривает. Какой бухгалтер? Какой ювелир? Какие Викусины локти? Катя тогда ничего маме не ответила, да и что тут скажешь-то? Не хочу? Не буду? Я лучше несуществующую Арктику порисую?

Сначала Катя думала, что это всё у мамы пройдёт, но оно стало только хуже. И каждый день мама придумывала что-нибудь противное, словно сама себя переплюнуть хотела. Что там бухгалтер... Дело даже до стоматолога дошло! А что? В белом халате, все уважают и даже немного побаиваются! И если вдруг муж попадётся не очень хороший, всегда и его, и деток прокормишь, и медицинской помощью обеспечишь, потому что врачи — они все заодно и друг другу помогают, обследования там, кодирования... И что самое обидное — при всём при этом вкус к собственному, спрятанному от дурацких гонок существованию мама не потеряла. По-прежнему варила по утрам кашу, уходила на работу, а потом возвращалась с туго набитыми пакетами, азартно натирала полы, обхаживала толстокожие фикусы, радовалась сметане (наисвежайшая!) или болгарскому перцу (сочный, аж брызжет!) и о Кате продолжала заботиться так же, как и всегда. Но как теперь было верить этой заботе...

Так и исчезло Катино убежище — даже в маме, даже дома не было больше защиты, и непереносимое будущее, дразнясь, выскакивало то тут, то там. Викуся со Светкой тоже на своих мам жаловались, что как с ума они посходили с этим поступлением и экзаменами, но Светку мама с детства била — по губам, если не то скажет, и по заднице, если не то сделает, и Светке самой хотелось из дому поскорей сбежать хоть куда, а у Викусы родной дядька в архитектурном где-то в Москве, ей там с самого рождения место было приготовлено, она и не возражала.

Катя промучилась почти год, страшно злилась на всех вокруг: и на подружек за то, что всё уже решили и не страдают; и на маму, без усталости выдумывающую замысловатое дочкино завтра; и на себя — за то, что никак не могла, как все, смириться и жить уже наконец-то в правильную сторону. Мучилась, мучилась, а потом взяла и распечатала целой стопкой свою фотографию — ту, где брови хорошо вышли. Слова “ТЕБЕ КОНЕЦ” под собственным лицом отчего-то странно бодрили, а в животе от них становилось так, будто едешь с высокой горки.

5

— Глянь, белые какие плетутся. Не местные, сразу видать. Мы в детстве так дразнились: “Бледня бледней!” Да вон, разуй глаза, вон, с вокзала вышли. А чемоданов-то! Ещё одни припёрлись, только их тут и не хватало. Сидят в своих северных задрищенках, а потом как ужалит их, к теплу

захочется. Ну, солнышко у нас яркое, да, тут не поспоришь, а больше чего ж особенного? Ехали бы куда-нить к морю, вон, помнишь, мы с тобой как поженились, ездили в Туапсе? Чего там не жить? Чего молчишь-то? Будто не помнишь. Да не мычи, а отвечай нормально, если спрашиваю. Ой, гляди-ка, ругаются! Мать с дочкой, лица как похожи, правда? Наглая девка-то. Распустили тебя, малая, я бы давно ремнём, если бы мои так выкобенивались. Чего там она орёт? Сама всё расклеила и раскидала? Потому что страшно было? Чего-чего она хотела? Ничего не пойму! Что ж такое, никак не разобрать отсюда. Давай поближе подойдём, вон на ту лавочку пересядем, послушаем, интересно же!

Смотри-ка, довела. Мать родная плачет стоит. Во семейка! Как не плачет? Смейся? Ты чего, дурак? Слезы-то ручьём, я ж вижу! А, и правда, улыбается. Гляди-ка, хохочет! Слушай, а вдруг они психические какие или бомбу несут? Давай-ка подальше от них, опасное дело. Пошли, пошли, чего пялишься, кинутся ещё.